

ЛЕГИТИМНОСТЬ ВЛАСТИ И ЛЕГИТИМНОСТЬ НОРМЫ: ПРОБЛЕМА СООТНОШЕНИЯ*

М. А. Беляев

Воронежский государственный университет

Поступила в редакцию 3 апреля 2014 г.

Аннотация: *в статье обосновано, что легитимность правовых норм, существенно отличаясь в эпоху позднего модерна от легитимности власти, является предметом юридической науки, поскольку обладает собственной историей и допускает рациональную реконструкцию этой истории.*

Ключевые слова: *власть, легитимность, право, теоретическая юриспруденция, философия права.*

Abstract: *the article proves that the legitimacy of the rule of law significantly different in the era of late modernity of the legitimacy of power, is the subject of legal science, because it has its own history and admits a rational reconstruction.*

Key words: *power, legitimacy, law, theoretical jurisprudence, philosophy of law.*

Общая задача настоящей статьи состоит в том, чтобы выделить легитимность правовой нормы как самостоятельный предмет научного исследования. Представляется, что решить данную задачу возможно посредством обозначения той познавательной ситуации (и ее конкретно-исторического окружения), в которой легитимность нормы отделяется от легитимности политической системы в целом или даже противопоставляется ей. Как указывает известный немецкий философ Юрген Хабермас, в развитых западных обществах в последние десятилетия возникают социальные конфликты, существенно отличающиеся от традиционных для капитализма конфликтов, связанных с распределением экономических благ. Они возникают отнюдь не в области материального производства, сферой их бытования выступают культура, механизмы социальной интеграции и социализации [1, с. 162]. Поскольку в современном обществе возникают такие негативные явления, как отчуждение граждан от закона и избыток нормативной регуляции (юридификация общества), на первый план выходит проблема доверия граждан законодателю и продукту его правотворческой деятельности. В ситуации, когда субъект не понимает смысла юридических процедур (а непонимание здесь производно от возрастания их сложности), за правом сохраняется свойство принудительности, а легитимность постепенно сводится к ми-

* Публикация подготовлена в рамках поддержанного РГНФ научного проекта № 14-03-00491.

нимуму. Ключевой вопрос, раскрываемый в настоящей статье, – это обоснование принципиальной взаимозависимости политической и правовой легитимности.

Соглашаясь с тем, что «принцип объективности познания вырастает из потребности общества в научном методе преодоления предметной и субъективной относительности изучаемых и преобразуемых вещей в составе абсолютной истины» [2, с. 10], мы полагаем, что невозможно игнорировать факт принадлежности каждого объекта познания к классу явлений, чье существование в качестве дискретных, ограниченных образований (фрагментов) производно от континуума мыследеятельности (совокупной человеческой практики). При этом вполне очевидно, что указанный континуум существует в единственном числе (впрочем, его историческая однократность не исключает, а скорее предполагает особую внутреннюю сложность, представляемую во множестве проекций). Иначе говоря, предпосылкой всякого отношения (в том числе познавательного) является онтологическое единство мира. Не будь мир единым, последовательности когнитивных (практических, перформативных, игровых и пр.) актов были бы невозможны ровно в той мере, в какой невозможно было бы удостовериться в правдоподобии хотя бы одного атрибутивного суждения.

В то же время научное познание предполагает естественное расщепление сущего на субъекта и объективную реальность. Это обстоятельство не дает агностических аргументов (легко сказать, что субъект не может знать ничего, кроме себя самого, куда труднее показать, что сам этот субъект есть система – сложная, противоречивая, развивающаяся). Важно помнить о двойственном аспекте единства мира: изначально он един лишь в негативном смысле (Гегель подтверждает этот факт тезисом о бессодержательности бытия как исходной точки движения духа), и только целеполагающая, социокультурно обусловленная деятельность впервые формирует подлинное единство мира, неиллюзорную связь материи и духа, человека и природы. Субъект есть такая же органическая часть указанной деятельности, как и объект: одно без другого не может обнаруживать себя вовне. Мышление, отражающее (и систематически переделывающее в дальнейшем) единую и бесконечную действительность, организовано по тем же самым законам, что и отражаемая действительность. Следовательно, мышление также представляет собой наряду с единством еще и структуру, или, как пишет А. Ф. Лосев, «единораздельную целостность» [3, с. 84].

Ясно, что, поскольку формы мышления производны от практической деятельности, они в конечном счете возвращаются к ней, достигая максимальной степени реализации, овеществляясь. На их пути происходит объективация логической структуры – полагание в мире объектов, их гипостазирование – имманентный признак активности сознания. В таком случае не будет ошибкой обозначать объект науки как пункт остановки действительности в ее непрерывном самопознании. При этом необходимость объекта не влечет необходимости предмета науки. Этот вывод – со-

циологический по своему происхождению, а не эпистемологический. Он относится к сложившимся внутри научного сообщества традициям употребления слов и понятий: определенное понимание предмета науки, повсеместно распространенное, к примеру, в диссертационных работах отечественных гуманитариев, опирается на некое фундаментальное (с нашей точки зрения) заблуждение. Принято полагать, что в процессе изучения реально существующего объекта его отдельные свойства (и те отношения, в которых эти свойства выражают себя явно) замещаются знаками, складывающимися в некоторую систему, чья семиотическая сложность прямо пропорциональна степени изученности объекта. Символический заместитель объекта, базирующийся на принципе параллелизма реального и виртуального, в конечном счете трактуется в качестве предмета науки. Форма выражения предмета здесь изначально логическая (понятия, суждения, умозаключения). И именно с этим логико-символическим образованием исследователь-методолог должен в дальнейшем работать, действовать с ним как с объектом.

На первый взгляд, представленная концепция не вызывает существенных возражений, ведь каждый сколь угодно простой когнитивный акт действительно способствует созданию символической модели реальности, так почему бы не обобщить данный прием и не распространить его на науку как таковую, на любую ее область? В каком-то отношении это удобно: создается иерархия предметов, вся объективная действительность оказывается заключенной в эту «сеть» моделей. И все же приводимая позиция далеко не идеальна, особенно в том, что касается статуса предмета как знаковой модели. В качестве опровержения приведем следующие доводы.

Во-первых, понятийная форма существования предмета науки позволяет его отождествлять с теорией, ведь, в сущности, нет никакой разницы между понятием и результатом его развития, который не может не быть приравненным к теории [4]. Понятие является основной структурной единицей предмета науки. В таком случае мы имеем неоправданное дублирование одного и того же логического целого.

Во-вторых, поскольку источником развития всегда является противоречие внутри некоторого целого, а знаковая модель объекта, будучи основанной на законах классической логики, лишена противоречий, возникает ряд известных трудностей в сфере эмпирической интерпретации теории (с не столь значительными поправками сказанное можно применять и за пределами естествознания). Противоречие не просто должно войти в структуру науки, оно может и обязано породить интервалы, на которых не функционирует классический дедуктивизм. В случае с моделью-заместителем знания этого шага вперед не происходит: теория сохраняет в качестве допустимых широкий спектр интерпретаций, выбор которых остается делом произвольным. В итоге порядок возникновения нового остается за пределами исследовательского интереса, а поиск реальных противоречий сводится в лучшем случае к ничему не значащим констатациям «с одной стороны...», «с другой стороны...». Происходит

редуцирование онтологического аспекта противоречия к несовершенству концептуального аппарата теории, что создает иллюзию конечности познавательного движения, разрешимости затруднений посредством усовершенствования суждений и т.п.

В-третьих, привычная трактовка предмета науки не вполне согласуется с общей логикой развития рационального познания. Последнее приобретает новое качество отнюдь не в связи с комбинацией элементов, полученных в процессе отражения, сколь бы ни было велико их число. По непонятной причине это соображение методологи науки не принимают всерьез. Весьма иллюстративно пишет В. И. Кириллов: «Взаимодействие “субъект – объект” ставит проблему многокачественности (точнее, многосторонности) объекта в гносеологическом аспекте. В зависимости от субъекта – его целей, интересов и т.д. – выделяются разные стороны объекта и на этой основе формируется предмет познания. Изучая один и тот же объект, например человеческое общество, разные науки выделяют его разные свойства... В соответствии с этим общественные науки различаются своими предметами, они имеют, таким образом, качественно разные предметы исследования» [5, с. 62]. В целом здесь верно подчеркнута зависимость содержания научного познания от интересов субъекта (при условии конкретно-исторического подхода к самому субъекту). В остальном приведенная позиция не выдерживает критики. Пусть мы согласимся с идеей неисчерпаемости внешнего мира, однако наличие бесконечного множества свойств у объективной реальности означает, что число их возможных комбинаций столь же неисчислимо. Поскольку семиотическая модель объекта не содержит внутренних пределов, ограничивающих производство конкретных моделей, следовательно, число возможных предметов и возможных научных дисциплин становится огромным, в перспективе – бесконечным. В действительности же мы имеем иную картину: система дисциплин зачастую складывается не из множества предметов, а из множества стадий развития одного и того же предмета.

Проиллюстрируем сказанное примером из правовой науки. Исторически сложилось так, что момент внутринаучной рефлексии в юриспруденции долгое время отсутствовал, будучи органической принадлежностью так называемой «философии права» (термин, хотя и устоявшийся в употреблении, но в контексте настоящей работы условный). Полагание границ теории права осуществлялось всегда извне, поэтому и критерии применялись внешние, более чем сомнительные. К примеру, известный дореволюционный правовед Н. Н. Алексеев, сопоставляя философию права и теорию права, признавал за ними функцию выработки систематических, обобщающих понятий. Потребность в такой функции понятна: отдельные юридические дисциплины стремились к обобщению внутри своей структуры, выходило так, что понятий права становилось множество и все они были примерно равноценны. Поиски единого и целостного смысла права велись двумя путями: философией права – из царства идей и теорией права – от эмпирического материала [6, с. 25–26].

Отсюда видно, как далеко ушла эпистемология от столь наивного «распределения обязанностей»! Конечно, потребность в обобщении знания никто не отменял, но при сохранении единства объекта (как бы мы его в данном случае ни понимали) неопределенность соотношения науки и философии приводит к удваиванию предмета, к тому, что по поводу одного и того же объекта имеются два предмета познания. В действительности философия права есть некоторый момент, эволюционная ступень развития юридической науки, на которой (ступени) в силу противоречия, разрыва между потребностью в методологической рефлексии и дефицитом средств осуществления последней возникает иллюзия псевдоавтономности некоего предмета, из которого выводится новая дисциплинарная структура, и т.д. Практический результат подобного рода гипостазирования чрезвычайно интересен, он ждет еще своего систематического описания, но сейчас речь не о нем.

Как уже было сказано, объект есть место самопересечения объективной реальности, точка встречи ее относительно активной и относительно пассивной сторон. Поскольку научное исследование идет методом восхождения от абстрактного к конкретному – от живого созерцания через абстракции к практике, – следует обратить внимание на вторичность объекта в интенциональной структуре субъекта. Сознание последнего всегда имеет в виду целое впереди и ранее частей. И как только эта встреча субъекта и объекта состоялась, первичное целое распадается. Строго говоря, введение единичного объекта и тем более его знаковой модели дробит мир на множество атомов, претендующих на объектный статус (добавим: моделирование не останавливает процесса дробления, а лишь заключает его в изящную форму – это можно назвать закономерностями объекта познания). Логика здесь проста: единичный акт познания «вычерпывает» из мира неразложимый (в условном смысле) объект, некую вещь. Но ровно то же самое происходит и в результате миллиона других актов, осуществляемых иными субъектами! Получается нечто вроде многомировой интерпретации квантовой механики, согласно которой каждая фиксация параметров элементарной частицы порождает «раздвоение Вселенной» (в первом «универсуме» остается частица с определенными параметрами, во втором – сохраняется неопределенность). Думается, особо серьезных оснований для принятия подобного рода точек зрения не существует.

Но в таком случае субъект вынужден продолжать процесс гипостазирования, дабы вписать объект в рамки интуитивно воспринятого (схваченного в живом созерцании) целого. Сущность отдельно взятой вещи невозможна, в своей отдельности взята может быть только феномен. Сущностью вещи в первом приближении можно считать, оставаясь на позициях признания единства и вечного саморазвития мира, вовсе не внутреннее содержание объекта, каким бы сложным оно ни было. Сущность отдельной вещи локализована не в самой вещи, она строго дистанцирована (если здесь уместны метафоры пространственного порядка) и представляет собой функцию данной вещи в сложной системе ее связей

со всем миром [7]. Вещь действительно связана со всей реальностью в ее сложности и многообразии форм: объект представляет собой нечто особенное, другими словами, единство всеобщего (субстанции) и единичного (конечной формы). Поэтому исследователь может сколько угодно анализировать вещь, мысленно или экспериментально делить ее до предела физических возможностей или – не делать этого вовсе: как, например, разлагать на части объект и нематериальный, и неделимый? В сущности, даже процедура синтеза, если последний понимать чересчур узко (как простое восстановление расчлененной структуры), не спасает дело. Тогда-то и появляется та символическая предметность, которой, как нам представляется, приписывают невыполнимые функции.

В разное время специалисты признавали объектом правовой науки различные феномены. Некоторые из них даже не подходили под это наименование: к примеру, как можно рассматривать в качестве объекта теории права «непосредственное бытие права», не указывая на способы опосредования его бытия [8, с. 47]? Не вдаваясь в подробности, отметим весьма любопытное воззрение на объект теории права – его все время старались тотализировать, представить единым, всеобъемлющим. Кроме того, объекты такого порядка, как «правовая действительность» или нечто подобное, все же не могут быть всерьез рассмотрены с научной позиции, ведь объект должен иметь не только внутреннюю структурированность, но еще и непосредственно наблюдаемые пределы. Кто же заранее, до движения мысли в логике понятий, сможет установить границы права как компонента общественной жизни? Если такая операция и возможна в принципе, то ее следует решительно относить к идеологии, а не к науке.

Итак, в определении природы объекта правовой теории допускались и продолжают допускаться явные ошибки различной «степени тяжести»: здесь и прямое игнорирование исторического пути юриспруденции, и желание выдать за науку некие идеологические соображения, и элементарное непонимание основных законов формальной логики и теории познания. Полагаем, что уже одно исследование всех ошибок и заблуждений, сделанных учеными-юристами в проблемном поле метатеоретической рефлексии, сослужило бы науке громадную пользу. Это, однако, не входит в задачи настоящей работы.

Согласно нашей позиции, элементарным объектом теории права может быть только правовой (юридический) текст. Во-первых, потому что только он отвечает всем признакам объекта науки. Во-вторых, правовой текст существует (и логически, и исторически) до понятия о праве и независимо от него, т.е. является автономным по отношению к правосознанию. В-третьих, правовой текст является исходным объектом юридической интерпретации, а последняя лежит в основе методологии юриспруденции. Правовой текст – эмпирически наблюдаемый феномен, содержит в себе все особенности правовой формы общественных отношений и бесспорно указывает на те признаки права, которые могут быть положены в основу последующего теоретического анализа. При этом анализ самого правового текста не может быть механически отделен от

воспроизведения в логике понятий научной предметности, конституированной как развертывание исходных онтологических гипотез, выдвинутых относительно объекта науки. Системно организованная целостность, называемая в эпистемологии предметом научного познания, не относится к объекту науки как его отражение, поскольку содержит в себе множество признаков, не выводимых из объекта в силу того, что последний их просто не содержит.

Субъекту правовой действительности в реальной жизни (потребности которой и приводят к познанию юридических текстов) противостоит вовсе не объект исследования, не текст, а иной субъект познания и деятельности, имеющий собственные интересы, допускающие опосредование правовыми нормами. Другими словами, существование в правовом поле для субъекта есть цепь бесчисленных взаимодействий и столкновений с точно такими же субъектами, а значит – с интерпретациями правовых норм, не тождественными его собственному пониманию, но равноценными ему. Объект здесь предельно пассивен: вся познавательная-практическая деятельность, характерная для нормативного поля, протекает вокруг указанного нами субъект-субъектного взаимодействия и не влияет на сущность объекта. Говоря проще, каков бы ни был юридический текст, во-первых, его можно интерпретировать несколькими способами, во-вторых, по отношению к каждой исходной интерпретации заинтересованный субъект может предложить альтернативную интерпретацию данного текста (не менее обоснованную и содержательную).

Все это говорит о том, что свойства правовой формы регулирования социальных отношений (материальным выражением которой выступает юридический текст) создаются в системе взаимодействия субъектов, стоящих перед необходимостью упорядочения (а значит, упрощения) данного взаимодействия. В силу этого право в истории приобретает только такие свойства, которые позволяют быть ему все более и более рациональным. Невозможно себе вообразить, чтобы человек сознательно и без особой нужды шел на усложнение своего социального бытия; все, что делают люди в процессе выработки тех или иных норм, направлено, во-первых, на уменьшение неопределенности в структурах социального взаимодействия, во-вторых – на упрощение самой ситуации межличностного контакта (за которым стоят конфликты интересов – первичный фактор, и конфликты интерпретаций – вторичный фактор).

Из вышесказанного ясно, что объект является для правовой действительности не реальным основанием ее существования, не субстратом (или субстанцией) ее бытия, а всего лишь той пассивно-страдательной формой, в которой совершенно «угасает» и снимается всякая активность субъектов по развертыванию собственного видения тех или иных элементов нормативного поля сквозь призму личных интересов и потребностей. Собственно говоря, только пассивное состояние правового текста обеспечивает его объективность по отношению к человеческому сознанию.

Вместе с тем не нужно забывать того обстоятельства, что, хотя сам объект юридического познания заключает в себе отношение всеобщего

(правовая действительность) и единичного (спектр потенциальных интерпретаций), данное отношение невозможно извлечь из самого объекта никаким образом: оно в нем ликвидируется в том смысле, что правовой текст, будучи чаще всего непосредственным или опосредованным результатом консенсуса субъектов, оказывается в итоге внеположенным пространству этих коммуникаций в правовом поле – они лишь с высокой долей условности могут быть «вычитаны» из его содержания. Предмет правовой науки, таким образом, являет собой то коммуникативно-сконструированное пространство, где объекту науки (правовому тексту) положена весьма определенная функция, суть которой в ограничении потенциально бесконечных вероятностных направлений взаимодействия субъектов правовой действительности путем установления некоего нормативного «фильтра», критерия, параметра – правовой нормы.

Сам по себе текст пассивен не только потому, что оставляет за интерпретатором высокую степень свободы относительно манипуляций со своим содержанием. Текст права призван лишь расставить некие «опорные точки» в реальности, наметить ее юридические контуры, но не более того. Текст как феномен вторичный (производный от рефлексии) не заменяет собой среды циркуляции правовых смыслов. Вот в этой-то широкой системе, где функционирует текст, где он приобретает все необходимые свойства, все юридические атрибуты, там текст становится объектом.

Предмет науки о праве – феномен иного порядка. В нем, в отличие от объекта, почти не бывает ничего раз и навсегда устойчивого, статичного и «спокойного»: противоречия общественного бытия человека не только не сняты в нем, но напротив – обозначены предельно остро. Предмет правовой науки вообще есть подвижное, исторически изменчивое, внутренне противоречивое, развивающееся в соответствии с собственными закономерностями системное образование, выступающее итогом как исторической эволюции правосознания в целом, так и процесса логического совершенствования (рационализации) правового дискурса. Целесообразно определять предмет правовой науки как развернутое понятие правовой действительности, как саму эту действительность, понятую и познанную в качестве рационально организованного аспекта социального бытия человека. Из этого определения со всей очевидностью становится ясно, что легитимность норм потенциально входит в проблемное поле юриспруденции. Иное дело, что до актуального ее вхождения еще довольно далеко.

Переходя ко второй части настоящей работы, дадим определение тем основным понятиям, которые будут использоваться нами далее. Попытаемся, в частности, разграничить легитимность политической системы и легитимность правовой нормы.

Когда речь идет о легитимности власти, сомнения в истолковании данного термина ни у кого не возникают: власть является легитимной, если народ добровольно признает за ней право принимать обязательные решения. В более широком смысле тот политический строй можно считать легитимным, в котором институты власти пользуются поддержкой

населения, отдельных больших групп, общественного мнения (в том числе и зарубежного) и т.п. Известный американский социолог Мартин Сеймур Липсет предлагает различать эффективность политической системы и ее легитимность по следующим основаниям:

1) эффективность показывает, насколько удачно в системе решаются политические проблемы, а легитимность – насколько актуальны и крепки в обществе убеждения, что существующие политические институты являются наилучшими;

2) эффективность имеет инструментальное измерение, а легитимность – аффективное и оценочное. Последнее, кроме очевидной неопределенности любого обособленного критерия легитимности, предполагает следующее. Некая группа воспринимает данную политическую систему как легитимную тогда и только тогда, когда ценности, провозглашаемые данной системой, входят в множество ценностей, разделяемых данной группой. Поэтому легитимным может быть абсолютно любой режим, в том числе и деспотический [9].

Согласно теории Дэвида Битэма, нормативная структура политической легитимности складывается из трех составляющих:

1) власть соответствует принятым или установленным в обществе правилам;

2) эти правила оправданы путем ссылки на веру, которую разделяют управляемые и управляющие;

3) имеются доказательства согласия на существующие отношения власти [10, с. 100–114].

Из названных признаков можно сделать вывод, что легитимность в политическом смысле характеризуется единством когнитивного и аксиологического отношений властвующих и подвластных субъектов. Иными словами, механизм признания власти не является ни полностью инструментальным, ни полностью аффективным. Об этом же недвусмысленно говорит Макс Вебер, чья триада типов политической легитимности не нуждается в особых комментариях, поскольку более или менее она общеизвестна. Существенно здесь одно: во всех случаях речь идет о более или менее осознанном убеждении. В случае традиционного политического господства – это убеждение в необходимости и неизбежности подчинения власти, хотя бы в силу привычки к повиновению. В случае харизматической легитимности мы имеем дело с верой в исключительные личные качества обладателя властных полномочий, а когда речь идет о рациональной (демократической) легитимности, акцент смещается на процедуры формирования институтов, чью справедливость признают люди. Отсутствие признания есть симптом кризиса легитимности, а последний, в свою очередь, означает кризис выбора, т.е. деградацию когнитивного либо аксиологического компонента.

Под легитимностью правовых норм мы будем понимать их свойство быть признанными субъектами права в качестве действующих регуляторов поведения. Как видно, когнитивный и оценочный моменты здесь также довольно тесно переплетены, из чего следует потенциальная воз-

возможность для исследователя структурировать накопленный наукой эмпирический материал в соответствии с выделенными типами отношения субъекта к действующему правопорядку. С нашей точки зрения, самым широким вариантом такой типологии было бы разделение всех правовых систем на рациональные (где политическая и юридическая легитимность друг другу либо не противостоят, либо противостоят осознанно для самих акторов политического процесса) и иррациональные (где противостояние остается за пределами осознанного отношения и управления).

По мере развития легитимность как качество (в том числе качество правового текста) становится все более рациональной. Это не означает, что возрастает рациональность легитимации как процесса или рациональность того, что легитимируется (обретает признание). Это скорее предполагает концептуальную обособленность и теоретическую отдельность данного предмета. В каком-то смысле данное изменение становится заметно только тогда, когда юридическая (нормативная) легитимность противопоставляет себя легитимности политической (демократической в широком смысле этого слова).

Проблема состоит в том, что традиционная правовая теория от темы легитимности и, соответственно, легитимации/делегитимации (процессов приобретения/утраты юридическими нормами признания) намеренно дистанцируется, избегая вводить указанные понятия внутрь уже сложившейся концептуальной системы. Возможно, такое отношение связано с оценкой признания норм как исключительно психологического явления (к психологизму среди отечественных правоведов всегда бытовало недоверие), но могут быть и иные причины. С точки зрения большинства теоретиков, процессы зарождения правовых установлений тождественны законотворчеству. Эта позиция напрямую не артикулирована, но легко реконструируется, ведь наука имеет дело либо с исходящим от суверена абстрактным правилом поведения, которое уже структурно оформлено, либо с правотворческой ситуацией, которую до определенного уровня можно и должно регулировать (отсюда вытекает, например, актуальность юридической техники).

Мы не намерены оспаривать важность названных объектов научного исследования, а хотим лишь указать, что приведенная точка зрения весьма упрощает реальную ситуацию. Фактически она редуцирует проблему оптимального правового регулирования к повышению избирательности и качества используемых законодателем правовых средств. В свою очередь, эта цель предполагается достижимой благодаря интенсивной теоретической проработке тех или иных управляемых факторов правотворчества. Данная модель на первый взгляд кажется безошибочной и эффективной. Но, если присмотреться к ней внимательнее, станут заметными две ее особенности. Во-первых, исключительная степень догматичности (в центре внимания не общее благо или польза, а формальное предписание, некая знаковая структура), во-вторых, преувеличенная рациональность кантианского типа (неявно предполагается, что если адресант (автор) правовой нормы конструирует ее, опираясь на доступное

ему знание каких-либо социально-экономических, культурных и иных закономерностей, то адресат нормы, опираясь на те же знания, не может не принять данную норму как должную). Конечно, в определенный исторический период эта модель была уместной, однако сейчас она требует замены. Причины понятны: для современного постиндустриального общества монологический разум уже не кажется чем-то общепризнанным, на смену приходит идея перманентного диалога, бесконечного пересоздания социальными группами собственных условий существования посредством достижения консенсуса. Иными словами, с одной стороны, признание правила хронологически не совпадает с его созданием (обнародованием), с другой – правовая теория не имеет оснований предполагать, будто бы разумность адресанта и адресата юридической нормы неизменна и одинакова. Вдобавок всегда существовавший философский и научный интерес к вопросам легитимности государства как субъекта, осуществляющего власть, сменился вопросом о моральном источнике обязанности подчиняться юридическим нормам. Следовательно, традиционная позитивистская (легистская) матрица исчерпала свои возможности. Новые возможности придут только с новой парадигмой, а путь к ней лежит через постановку и решение проблемы легитимности права.

Существуют несколько причин, по которым вопрос о легитимности норм актуален именно в отечественной правовой науке.

Во-первых, как уже было сказано, узконормативный подход оставляет за пределами дискурса ряд объективно существующих явлений и процессов, к примеру процессов обретения и утраты правовыми нормами доверия в обществе. Дальнейшее изучение системы права как упорядоченных предписаний, дифференцированных по предмету и методу воздействия, является односторонним и рано или поздно неизбежно отрывается от действительности, превращаясь в схоластические упражнения по введению новых сущностей. Между тем нужно понимать, что познавательные возможности позитивистского взгляда на право давно исчерпаны.

Во-вторых, доминирующий в российской юриспруденции дискурс оставляет без выяснения вопрос об основаниях подчинения граждан правовым предписаниям и запретам. Если быть точным, в рамках господствующих воззрений вопрос о силе права является очевидным, поскольку отсылает к праву сильного, т.е. к государству как аппарату принуждения и его полномочиям. Эта позиция представляется устаревшей как с точки зрения метода, так и с точки зрения идеологии (апология государства как царства реализованной свободы была весьма уместна в эпоху Гегеля, но не сегодня).

В-третьих, наука (как отечественная, так и зарубежная) продолжает считать правовую систему основной классификационной единицей (на макроуровне), в то время как речь идет скорее об идеальных типах в том смысле, какой в них вкладывал М. Вебер. Увеличивать, уменьшать или просто уточнять число существующих в мире правовых систем вовсе не относится к задачам теории. Просто уже надо признать, что она выполняет эти задачи неосознанно, в качестве некоего стереотипа. Удобно, но

ошибочно рассматривать право как нечто законченное, целое и однородное, так как в действительности не существует ни одной правовой системы, которая не испытывала бы воздействий со стороны иных правовых систем. Жизнь права – это постоянная динамика на всех уровнях, включая уровень отдельных предписаний. До сих пор соотношение собственного и заимствованного в том или ином правопорядке если и выступало предметом изучения, то не в связи с проблемой общественного признания действительности того или иного правового института, а скорее как сопоставительный момент на уровне юридической техники (такова, к примеру, широко известная работа К. Цвайгерта и Х. Кётца «Введение в сравнительное правоведение в сфере частного права»). Существующая в сравнительном правоведении типология правовых систем не отражает динамики происходящих в мире процессов легитимации и делегитимации юридических установлений и не дифференцирует правовые институты по степени возрастающей или убывающей их связи с моральными и (или) религиозными установками.

Не изученным остается и феномен правового плюрализма, связанный не столько с многообразием примитивных культур (как это трактует юридическая антропология, хотя ее подход имеет большое познавательное значение и не может быть дезавуирован), сколько с характерным для современных западных обществ разнообразием тех акторов, которые, будучи не государственными по своей природе, тем не менее влияют на содержание правовых предписаний и их эффективность. Говоря иначе, плюрализация правопорядка должна быть замечена теорией как факт не диахронический (существующий благодаря переходу отдельно взятого традиционного общества к чему-то принципиально новому), а синхронический (существующий благодаря тому, что в любой момент времени в правовой системе отражается некий баланс (или дисбаланс) политических и иных сил, влияющих на действенность правовых предписаний).

Таким образом (здесь мы переходим к третьей части работы), проблема легитимности играет в юридической теории важную роль, поскольку ее последовательное решение:

- позволяет обогатить категориальный аппарат науки (к примеру, в структуру правовой теории впервые могут быть введены такие концепты, как «признание» и «доверие», имеющие интересубъективную природу);

- создает предпосылки для выявления новых метафизических (мировоззренческих) оснований правовой идеологии общества эпохи пост-модерна;

- предполагает соединение логического и эмпирического уровней исследования правовых систем (с нашей точки зрения, легитимность как сущностный признак позитивного права допускает выявление и сравнительную оценку («измерение») с помощью хорошо известных социологии процедур и приемов);

- способствует получению ряда классификационных достижений (построению сравнительного правоведения на основе анализа процессов легитимации/делегитимации в обществах разных типов и т.д.).

Перспективной методологической стратегией изучения легитимации правовых норм выступает политико-правовой дискурс-анализ. Подобный прием познания ориентирован на смысловой анализ многообразных форм юридической деятельности посредством выявления ее когнитивных схем, так как дискурсивность указывает на передачу, оперирование, создание новых знаний. Дискурсивность означает включенность политико-правовых действий в общий смысловой контекст («поле», по П. Бурдьё), что позволяет обеспечить последовательное сочленение единичных смысловых элементов и придать им смысловую целостность вне зависимости от естественной вариативности поведения отдельных акторов. Дискурс, таким образом, является средством упорядочения социальной реальности.

Указанный метод предполагает использование различных интерпретативных стратегий, в центре которых, безусловно, находится истолкование социальных действий, т.е. поиск их смысла. Понятие легитимности в данном случае приобретает значение не столько «узаконивания» отношений господства, сколько наличия некоего «общего горизонта смысла» публичного целедостижения, служащего точкой отсчета для социальных акторов в ходе их действий. Легитимация в свете указанного подхода представляет собой структурирование, упорядочение системы символов, обосновывающее идентичность и солидарность сообществ на основе того или иного правопорядка.

Подведем некоторые итоги. Во-первых, мы установили, что легитимность власти далеко не всегда имплицитно предполагает легитимность правовой системы или отдельных ее компонентов. Неявная связь двух указанных явлений всегда присутствует, но отображаться в дискурсивных практиках начинает только при условии нарастания критического отношения к господствующей парадигме правосознания. Иначе говоря, в обществах, где фактор демократического участия в правовых процедурах весьма высок, общественное признание власти может сохраняться, а легитимность права – утрачиваться, перерождаясь в правовой нигилизм. В обществах, где сильны инерции традиционного правосознания, легитимность права может сохраняться (перерождаясь, естественно, в правовой идеализм или правовой фетишизм), а признание власти – исчезать.

Во-вторых, мы доказали, что легитимность норм входит в предмет правовой науки, поскольку является атрибутом той самой действительности, внутри которой происходят циркуляция и обновление юридических ценностей и смыслов.

В-третьих, мы установили, что введение проблематики легитимности в структуру правовой теории существенно влияет на критерии классификации правовых систем. В частности, самым широким вариантом такой типологии было бы разделение всех правовых систем на рациональные (где политическая и юридическая легитимность друг другу либо не противостоят, либо противостоят осознанно для самих акторов политического процесса) и иррациональные (где противостояние остается за пределами осознанного отношения и управления). Думается, дан-

ная типология является не только фактически новой, но и эвристически плодотворной в контексте исследования таких проблем, как правовой плюрализм, юридификация общества и т.д.

В-четвертых, мы выдвинули гипотезу, что по мере развития легитимность как качество (в том числе качество правового текста) становится все более рациональной. Это предполагает концептуальную обособленность и теоретическую отдельность данного предмета. В каком-то смысле данное изменение становится заметно только тогда, когда юридическая (нормативная) легитимность противопоставляет себя легитимности политической (демократической в широком смысле этого слова). В таком случае наше очередное предположение формулируется так: история права (его эволюции) есть история кризисов легитимности отдельных элементов правовой системы. Чтобы проверить данное предположение, требуется отдельное исследование, к которому мы в ближайшем будущем намерены перейти.

Литература

1. *Фурс В. Н.* Философия незавершенного модерна Юргена Хабермаса / В. Н. Фурс. – Минск, 2000.
2. *Шулевский Н. Б.* Принцип объективности познания : предметное содержание и логические функции / Н. Б. Шулевский. – М. : Изд-во Моск. ун-та, 1985.
3. *Лосев А. Ф.* Дерзание духа / А. Ф. Лосев. – М. : Политиздат, 1988.
4. *Арсеньев А. С.* Анализ развивающегося понятия / А. С. Арсеньев, В. С. Библиер, Б. М. Кедров. – М. : Наука, 1967.
5. *Кириллов В. И.* Логика познания сущности / В. И. Кириллов. – М. : Высш. шк., 1980.
6. *Алексеев Н. Н.* Общее учение о праве : курс лекций / Н. Н. Алексеев. – Симферополь, 1919.
7. *Науменко Л. К.* Монизм как принцип диалектической логики / Л. К. Науменко. – Алма-Ата, 1968.
8. *Шабалин В. А.* Методологические вопросы правоведения / В. А. Шабалин. – Саратов : Изд-во Саратов. ун-та, 1972.
9. *Martin S. Lipset* (1959). Some social requisites of democracy : economic development and political legitimacy / *The American Political Science Review*, Vol. 53, № 1, p. 86–89.
10. *David Beetham* (1991). *The Legitimation of Power*, Palgrave Macmillan.

Воронежский государственный университет

Беляев М. А., кандидат философских наук, преподаватель кафедры онтологии и теории познания

E-mail: yurist84@inbox.ru

Тел.: 8-904-212-72-98

Voronezh State University

Belyaev M. A., Candidate of Philosophical Sciences, Lecturer of the Ontology and Theory of Knowledge Department

E-mail: yurist84@inbox.ru

Tel.: 8-904-212-72-98